

«опредметить», на ней такъ или иначе «заработать». Неуваженіе къ другому обусловлено отсутствиемъ собственного достоинства. Англичане, у которыхъ вѣковыя традиции политической свободы воспитали это чувство, не любятъ «юбилеевъ». Они чтутъ Шекспира, но не «гордятся» имъ. Но англичане — исключеніе. Пушкинъ, кажется, крайній случай «юбилейнаго» обращенія съ творческой личностью. Пушкинъ — мѣра «сталантливости русскаго человѣка», Пушкинъ — лучшее выраженіе «русской души», Пушкинъ — залогъ «величія Россіи», Пушкинъ

— «нашъ», Пушкинъ — это мы и т. под. Другими словами, Пушкинъ это капиталъ, процентами съ котораго мы всѣ вправѣ пользоваться.

Единственнымъ утѣшеніемъ остается то, что среди «насъ» нашелся все-таки одинъ, кто отъ участія въ томъ знаменитомъ пушкинскомъ юбилеѣ, сыгравшемъ роль окончательной расправы съ Пушкининымъ, уклонился. Не случайно это былъ тотъ самый, кто, единственный, увидѣлъ Татьяну такую, какою показала ее Пушкинъ.

П. Бицилли.

## Мысли о „русской душѣ“

Иностранецъ этихъ словъ въ ковычки не поставитъ и рассуждать на обозначенную ими тему будетъ непринужденнѣе, чѣмъ мы. Такъ и намъ говорить о национальныхъ чертахъ нѣмцевъ или англичанъ легче, чѣмъ о своихъ, а о собственной душѣ и упоминать неловко; однако, за нѣмніемъ болѣе удобнаго выраженія можно воспользоваться и этимъ, самой же темѣ все равно не избѣжать. Всѣ мы о ней думаемъ, почему же кому-нибудь не подумать вслухъ? Всѣ мы въ нашихъ мысляхъ о себѣ, о своемъ народѣ, исходимъ изъ нѣкотораго общаго представленія о томъ, что приходится называть слишкомъ расплывчато его душой или слишкомъ узко его характеромъ. Почему же не попытаться представить эти провѣрить, хотя бы частично, и хоть что-нибудь разглядѣть въ притягивающей глубинѣ?

Мнѣніемъ иностранцевъ при этомъ отнюдь не слѣдуетъ пренебрегать. Конечно, русскій человѣкъ изнутри знаетъ кое-что о себѣ и о Россіи, что другому узнать трудно; но сколько-нибудь ясно высказать то, что подсказывается этимъ смутнымъ знаніемъ, тоже вѣдь очень не легко. Чужія ошибки въ этой области ничего не стоить указать, но какъ трудно выразить въ словахъ нашу собственную, чувствуемую, однако, правду. Тутъ-то и помогаютъ сужденія иностранцевъ, наблюденія со стороны; благодаря имъ становится легче разобраться въ полувнятномъ нашемъ самосозерцаніи. Неоцѣнимо полезны съ этой точки зрѣнія бывають не только писанія въ общемъ дружественныя Россіи, какъ недавняя книга профессора Легра, но и книги наблюдателей, настроенныхъ враждебно, если только они талантливо и умно, какъ Кюстинъ, или

особенно какъ Викторъ Генъ (Hahn), балтійскій вѣмедь, авторъ замѣчательныхъ книгъ о Гете и объ Италіи, прослужившій полжизни въ петербургской Публичной библіотекѣ, страстно ненавидѣвшій все русское, включая музыку и литературу, и все же оставившій записи (изданія профессора Шиманова въ 1892 году посмертно), которымъ трудно найти что-либо равное по зоркости и остротѣ.

Случай Гена — крайній: прозорливѣе, внушенное злобой, ясно-виднѣе вопреки несправедливости; общее у него съ другими только то, что и онъ «со стороны». Именно такъ, все равно что чужими глазами, надо и намъ посмотреть на себя, чтобы себя понять, и, пожалуй, сейчасъ, когда мы отдѣлены отъ Россіи чѣмъ-то большимъ еще, нежели только версты или годы, намъ легче стало видѣть многія изъ тѣхъ чертъ, что составляютъ ея единственность и неповторимость. Конечно, глядя на нее, думая о ней, мы не можемъ быть только стороной, мы также и она сама; только раздвоившись угадаемъ мы даже самую ничтожную ея черту; это раздвоеніе какъ разъ и стало допустимѣе, чѣмъ прежде. Впрочемъ, пусть оно трудно и сейчасъ... Что же дѣлать въ эмиграціи, если не думать о Россіи? Какъ не возвращаться къ мысли о ней тѣмъ чаще, чѣмъ дальше мы, казалось, отходимъ отъ нея, насыщаясь европейскимъ опытомъ?

Въ Эрмитажѣ, когда-то, я всегда останавливался передъ картиной Юрданса «Семейный портретъ», напоминавшей мнѣ почему

то Россію Петра, — или Европу, какъ ее долженъ былъ видѣть русскими глазами Петръ, — хотя написана она на поляѣкѣ раньше и ничѣмъ не связана съ петровскимъ временемъ. Позднѣе я понялъ, что ошибался: въ картинѣ есть что-то не отъ петровской Россіи, а отъ Россіи, вообще. Съ той ее связываютъ лишь случайныя ассоціаціи, съ этой — одна черта, только одна, но безъ которой не представляешь себѣ образа Россіи. Кажется, съ этой черты и надо начинать, когда думаешь о ней.

Въ эрмитажномъ портретѣ, какъ и во всей живописи Юрданса, есть какое-то необычайно острое чувство семьи, взаимной близости, связанности ея членовъ, нераздѣльности человѣческихъ особей въ лонѣ вскормившаго ихъ рода. Людямъ въ его картинахъ тѣсно, но тепло; они заполняютъ весь холстъ; они живутъ вмѣстѣ, сообща, одною жизнью, одною душой; одинъ начинается тамъ, гдѣ кончается другой, одинъ заканчивается, доживаетъ въ самомъ себѣ тѣлесно-душевную цѣлостность другого. Если у него, въ собственномъ смыслѣ слова, изображена семья, то дѣти и въ самомъ дѣлѣ соединяютъ въ себѣ отца и мать, братья и сестры — развѣтвленія одного ствола, и какой-нибудь старшій дѣдъ корнями уходитъ въ глубь родовой жизни. Вотъ въ этомъ именно чувствѣ семейной связанности, домашняго тепла и тѣсноты есть что-то русское, сохранившееся въ русскомъ быту, хотя, конечно, не повсюду одинаково — и хотя отъ него, какъ отъ многихъ другихъ характерно русскій чертъ, можетъ ничего не остаться въ бу-

душемъ. Чувство это съ огромной силой отражено русской литературой, и больше всего Толстымъ, который, быть можетъ, именно въ этомъ отношеніи, больше, чѣмъ во всѣхъ другихъ, — самый русскій изъ русскихъ писателей. Воплотилась эта черта не только въ его творчествѣ, но и въ жизни, что особенно ясно видно изъ воспоминаній Александры Львовны, гдѣ Толстой, да и Софья Андреевна рядомъ съ нимъ, неизменно присутствуютъ, зримо или незримо, какъ священные прашурь, какъ домашніе боги въ мірѣ простыхъ смертныхъ — дѣтей, домочадцевъ и гостей. Подростая, жениась, выходя замужъ, дѣти все же остаются нераздѣльными съ семьей, если не въ реальномъ бытѣ, то въ душѣ, въ памяти, или, вѣрнѣе, въ крови: ихъ радость и горе, ихъ различныя судьбы, даже ихъ любви различаютъ ихъ, но не разъединяютъ. Множество эпизодовъ и подробностей, рассказанныхъ Александрой Львовной, устанавливаютъ необычайно крѣпкую связь Толстого съ женой и дѣтьми, сказывающуюся въ его остроумъ (все равно сочувствующемъ или враждебномъ) переживаніи любовныхъ увлеченій дочерей, въ его вчувствованіи въ семейную жизнь сыновей, въ собственной, не пшкней только, но и внутренней опутанности теплыми семейныхъ отношеній. Можно думать, что и предсмертный его уходъ былъ не только результатомъ давно уже назрѣвавшего рѣшенія покинуть обстановку, обрекавшую его вести не ту жизнь, какая вытекала изъ его ученія, но и чѣмъ-то большимъ: попыткой бѣжать отъ себя, того семейственного начала въ себѣ самомъ,

что всегда сосуществовало и глухо боролось въ его душѣ съ чисто индивидуальнымъ, не знающимъ ни чадъ, ни домочадцевъ усмотрѣніемъ его разума и совѣсти.

Въ книгахъ Толстого живетъ такое чувство семьи, какого не знала европейская литература со временъ патриархальныхъ и которое въ эти патриархальныя времена не могло быть выражено такъ, какъ его выразилъ Толстой. «Война и миръ» — повѣствованіе о семьяхъ, больше, чѣмъ о людяхъ, и «Анна Каренина» не случайно начинается знаменитой фразой о счастьи и несчастьи семействъ, а не людей. Нигдѣ не показана такъ, какъ у Толстого, та совмѣстность души, что внутренне объединяетъ даже и очень разнствующихъ между собою — умственными способностями, характеромъ, талантомъ — членовъ одной семьи. Единство это стихійно, до-разумно; въ изумительной сценѣ предложенія Левина на другой день послѣ счастливаго объясненія его съ Кити, старые князь и княгиня не просто сочувствуютъ дочери, не радуются ея счастью, а участвуютъ въ немъ, въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова: дочь не до конца отъ нихъ отдѣлена; въ ея любви, въ ея будущемъ материнствѣ они съ ней, ея замужество — событіе не личное, а родовое. Стоитъ сравнить эту сцену съ той, что происходитъ у Анны съ Вронскимъ послѣ ея «паденія», чтобы понять, насколько для Толстого истинна и даже просто художественно образима лишь та любовь, что неразрывна съ материнствомъ и семьей; отсюда и различіе всего отношенія его къ любви Анны и

Вронского, сравнительно съ любовью Левина и Кити, различіе, внушенное въ конечномъ счетѣ (какъ и весь замыселъ романа) не отвлеченно-моральнымъ принципомъ, а ощущеніемъ жизни, болѣе глубокимъ, чѣмъ всякая мораль. Любовь признается Толстымъ только родовая. Иную онъ отвергаетъ, какъ челоѣкъ; и даже какъ художникъ способенъ изобразить ее только подчеркивъ ее разрушительную силу (какъ въ романѣ Анатоля и Наташи), обнаживъ ее устремленность въ небытіе. Ни въ чемъ такъ не проявилась глубина толстовскаго чувства семьи, какъ въ томъ, что самая любовь окрашивается у него семейно и знаетъ только эту одну родовую «сублимацию». Чувство это принадлежитъ, однако, не ему одному, а въ какой-то мѣрѣ всей Россіи, и имъ самымъ переживается именно такъ: какъ самоочевидное и всеобщее. Онъ его выразилъ всего сильнѣй, но его легко найти какъ бы въ предварительномъ очеркѣ у Пушкина, потомъ у Аксакова, у Тургенева, даже у Достоевскаго, (хотя ему лично оно скорѣе чуждо), и характерно, что розановское обожествленіе пола имѣетъ въ виду первобытную дѣтородную стихію и этимъ противоплагается, напримѣръ, проповѣди Лауренса, вполне совѣстимой съ восхваленіемъ противозачаточныхъ средствъ.

Именно этой близостью эротическаго и семейнаго, исконной нераздѣльностью семьи съ природной, дочеловѣческой ея основой Россія и отличается отъ Запада. Семейные устои очень сильны, напримѣръ, во Франціи, но здѣсь семья—учрежденіе, которое долж-

но уважать, которое охраняется закономъ: она не дана, а задана. Семью здѣсь основываютъ, какъ новую, отдѣляющуюся отъ дѣлаго, единицу; ея члены какъ бы граждане малаго государства, управляемые неписанной конституціей. Она основана на правѣ больше, чѣмъ на морали, и на морали больше, чѣмъ на первичномъ, непровѣренномъ разумомъ влеченіи. Ей присуща прочность хорошо построеннаго зданія, но не гибкость и обновляемость живого организма. Это различіе простирается за предѣлы собственно семьи, устанавливаемой по принципу единокровности. Если во Франціи, и на Западѣ вообще, семья тяготеетъ къ государству и публичному праву, то въ Россіи и сама государственная, публично-правовая жизнь какъ бы стремилась всегда къ состоянію жизни семейственной. Наши семьи не замыкались, а распространялись. Домочадцы и даже гости участвовали въ семьѣ. «Дворовые и слуги чрезвычайно много раздѣляли интересовъ частной, духовной и умственной жизни своихъ господъ въ былое время», говоритъ Версильовъ у Достоевскаго, и достаточно одной русской литературы прошлаго вѣка, чтобы увѣрить насъ, что онъ говоритъ правду. Лакей—не только не русское слово, но и не русское понятіе; зато всевозможные нахлѣбники и приживалки, а также бывшія кормилицы, отставныя няни и окончившіе службу денщики всегда составляли пограничную стражу русской семьи, оберегавшую ее отъ слишкомъ четкаго чертежа внѣшней, жесткой, несемейной жизни.

Дѣла тутъ даже не въ одной лишь семейной традиціи, самой по

себя. Чувство, близкое къ семейному, могло выработаться въ любви не слишкомъ обширной социальной группѣ, ибо личность въ Россіи не до конца выдѣлялась изъ своей среды, оставалась связанной съ тѣмъ, что лучше называть общиной, а не обществомъ. Это положеніе имѣетъ въ виду Гень, когда говоритъ, что въ Россіи «личность погружена въ субстанцію семьи». Но онъ склоняетъ смѣшивать его съ патриархальностью, въ строгомъ смыслѣ слова, хотя patria potestas съ римскимъ отгѣнкомъ государственнаго властвованія вовсе не характерна для Россіи. Покойный французскій критикъ Жакъ Ривьеръ, въ своей книгѣ о Германіи, рассказываетъ о томъ неизгладимомъ впечатлѣніи, какое произвели на него русскіе солдаты, видѣнные имъ въ нѣмецкомъ плѣну, своей странной сплоченностью, какъ бы приклеенностью другъ къ другу. Быть можетъ даже та особая форма групповаго помѣшательства, какая поразила тѣхъ русскихъ солдатъ, что уже много лѣтъ содержатся, какъ о томъ не разъ сообщали газеты, въ одной изъ итальянскихъ лѣчебницъ для душевно-больныхъ, стоитъ въ нѣкоторой связи съ этой особенностью русскаго душевнаго уклада. Люди эти молчаливо и безпрекословно подчиняются вожаку, какъ бы сосредоточившему въ себѣ всѣмъ имъ общую душу, — волю и разумъ всей этой скончательно сросшейся внутреннею общиной. Можно истолковать это, какъ ненормальное обстрѣненіе той невыдѣленности лица изъ народа, общины, артели, семьи, которую иные наблюдатели называли стадностью; однако стадное чувство въ извѣстныхъ усло-

віяхъ можетъ овладѣть скопленіемъ людей любой національности, любой толпою, тогда какъ для русскихъ людей характерно нѣкоторое постоянное ощущеніе своей связанности съ близкими, какими бы признаками ни опредѣлялась эта близость.

Легко намѣтить отсюда переходъ къ еще болѣе русской чертѣ: преобладанію личныхъ отношеній надъ отношеніями профессиональными, служебными, вытекающими изъ общественныхъ нормъ и государственныхъ установленій. «Русскій купецъ», говоритъ Гень, съ неохотой уплываетъ по векселю, даже если онъ миллионеръ. Ему трудно разстаться съ деньгами, а главное его тѣснить точно установленный срокъ. Ему хочется устроить дѣло любовно, въ дружеской бесѣдѣ, путемъ просьбы, уговариванья, общанья, лести, умиленья, отказа, уступки, словомъ въ порядкѣ личнаго общенія. Подмѣчено это вѣрно, хотя и односторонне оценено. Бюрократическая механизация человѣческихъ отношеній никого такъ не пугала, какъ русскихъ людей; объ этомъ свидѣтельствуетъ, среди многихъ другихъ, Гоголь въ «Шинели» и Гончаровъ въ «Обыкновенной исторіи». Пусть иногда безтолково и невпопадъ, но въ «должностномъ лицѣ» у насъ всегда склонны были искать человѣка, и не находя впадали въ отчаяніе или въ негодованіе. Толстой не терпѣтъ Каренина прежде всего за то, что онъ исполнительный петербургскій чиновникъ, а самый Петербургъ, за тѣ-же его качества, за упорядоченную холодность и «официальность» недолюбливали провинциалы и москвичи. Въ конеч-

номъ счетъ это сводится къ отрицанію того, что такъ почитается на Западѣ: моральнаго должествованія, вообще долга. Русскій человѣкъ, если творить добро, то не по долгу, а по любви, и вообще дѣлать, творить, работать онъ хочетъ — какъ совершенно правильно замѣтилъ и Лейбгаузъ — только если трудъ ему по сердцу, а не въ силу того, что онъ долженъ, обязанъ, хотя бы это должествованіе ему предписывала собственная выгода или необходимость. Конечно, это нерѣдко приводитъ къ пассивности, легко переходящей въ простую лѣнь, а лѣнливыйъ бываетъ и моральное чувство; однако Гончаровъ не совсемъ неправъ, когда, восхваляя Штольца, онъ тайно предпочитаетъ ему Обломова. Въ отрицаніи долга, въ выведеніи всей морали изъ любви и въ предпочтеніи этой морали праву заключается также и вѣра въ положительное, дѣйственное добро, тогда какъ юридическая мораль приводитъ къ системѣ запрещеній, къ пониманію добра, какъ простаго воздержанія отъ зла или какъ внѣшняго, изсушающаго сердце исполненія закона.

Первенство личныхъ отношеній въ русской его формѣ, отрицательная сторона котораго выражается специфически русскимъ понятіемъ кумовства, не должно быть смѣшиваемо съ персонализмомъ англійскаго типа, — прежде всего потому именно, что у насъ личность остается недоочерченной, недовыдѣленной изъ семьи и общины. Этому содѣйствуетъ, съ отнимъ сливается слабое чувство собственности, другая нерѣдко отмѣчавшаяся особенность русскаго человѣка. Въ

частномъ разговорѣ нѣмецъ, жившій въ Россіи до войны, долго хвалилъ русскихъ, но затѣмъ прибавилъ, что они, къ сожалѣнію, «*dieblich angelegt*», склонны къ воровству. Почти такое же мнѣніе высказалъ было и проф. Лейбгаузъ, но вскорѣ добавилъ, что склонность къ захватыванію чужого добра соответствуетъ готовности разстаться со своимъ добромъ; русскій человѣкъ отдастъ свое такъ же легко, какъ беретъ чужое. Не всегда отличая свое отъ чужого, русскій человѣкъ тѣмъ болѣе не будетъ склоненъ отличать собственность отъ владѣнія. Смѣшеніе это несомнѣнно проникало весь русскій бытъ столь противорѣчащій твердымъ опредѣленіямъ римскаго права, ставшимъ какъ бы второй натурой западнаго человѣка, особенно человѣка латинской цивилизаціи. Какъ правило, мелкій должокъ не слишкомъ тревожитъ русскую совѣсть, но зато и самъ давая въ долгъ русскій человѣкъ зачастую просто даетъ, а не ссужаетъ, недаромъ этотъ глаголъ рѣже употребляется у насъ чѣмъ *prêter, leihen, to lend* и другіе западные его синонимы. Я увѣренъ даже, что русское моральное сознаніе оцѣниваетъ всѣ имущественныя отношенія съ точки зрѣнія не вѣшной, а личной, принимаетъ во вниманіе не убытокъ, а ущербъ, оправдываетъ вора по бѣдности (да и даже по богатству того, кого онъ ограбилъ), что съ великимъ негодованіемъ отмѣчаетъ въ своихъ запискахъ Генъ и что конечно имѣетъ свои опасности, и ужъ во всякомъ случаѣ находится въ рѣзкомъ противорѣчій съ логикой римскаго, да и всякаго вообще права.

Логика права враждебна русской совести, как и русскому уму; интеллектуальная и моральная особенность русского человека тут различимы. В самом деле, благодаря логической и юридической недисциплинированности мышления, стираются границы между тем, чего хочется и тем, что есть, между обещанным и осуществленным, между утверждением и предположением. Конечно, ворует и лжет и европеец, а не только русский человек, но различающий отбнокъ заключается в том, что с одной стороны чаще преобладает голый расчет и явная корысть, с другой — известная текучесть представлений о собственности и об истине; не даром и русское слово правда означает не столько интеллектуально — отчетливое соответствие ксиса игреку, сколько нечто среднее между мудростью и добром. Неточен вѣдъ и самъ русский языкъ по сравнению, напримеръ, съ французскимъ, и не только въ смыслъ меньшей логической строгости въ словоупотребленіи и построеніи фразы, но даже и въ самой фонетикѣ: неударныя гласныя звучатъ неопредѣленно, концы словъ проглатываются. Неотчетливая артикуляція — наша главная ошибка, когда мы говоримъ по французски, болѣе замѣтная для французозвѣ, чѣмъ всѣ наши отдѣльныя погрѣшности. Зато насколько нашъ языкъ выразительнѣй, конкретнѣй, а главное задумчивнѣй и горячѣй не только французскаго, но и всѣхъ другихъ западныхъ языковъ, насколько ближе къ чувствамъ и вѣщамъ, во сколько разъ живѣй передается въ немъ бленіе чело-

вѣческаго взволнованнаго сердца.

Ничто такъ не раздражаетъ последовательнаго западнаго человека въ русскомъ, какъ пренебреженіе логикой ради чего-то, что можетъ быть ниже, а можетъ быть и выше логики, какъ подмѣна права и справедливости милосердіемъ и любовнымъ снисхожденіемъ къ слабостямъ — своимъ и чужимъ. Генъ рассказываетъ о томъ, какъ нѣмецкій врачъ не пашель никакой болѣзни у многосемейнаго пьяницы псаломщика и съ негодованіемъ прибавляетъ, что этотъ безспорный діагнозъ вызвалъ всеобщее недовольство, такъ какъ дѣтямъ псаломщика нечего было вѣсть, а по болѣзни ему выдавали-бы казенную субсидію. Кто правъ? Въроятно и сейчасъ большинство русскихъ людей захочетъ, чтобы врачъ солгалъ и чтобы дѣти были сыты. *Le œuf a ses raisons.*, которыхъ не знаетъ не только разумъ, но и запрещающая, регулирующая нравственность. Постоянное преобладаніе этихъ «доводовъ сердца» надъ разумомъ и моралью, ничего не знающихъ о нихъ, разумѣется опасно, легко приводитъ къ хаосу, гдѣ гибнутъ одновременно и милосердіе, и справедливость. Угроза хаоса означаетъ известную первобытность культуры; культурѣ поздней угрожаетъ не хаосъ, а чрезвычайный порядокъ улья или муравейника. Даже Генъ прекрасно понималъ ту прелесть Россіи, что зависить отъ ея молодости и широты, отъ отсутствія стѣсняющихъ перегородокъ. Въ Россіи, по крайней мѣрѣ въ старой Россіи, было нечто, чего можетъ быть уже нигдѣ на свѣтѣ нѣтъ: ощущение очень большой свободы, — не полити-

ческой конечно, не охраняемой законом, государством, а со-вѣсьмъ иной, происходящей отъ тайной увѣренности въ томъ, что каждый твой поступокъ твои ближние будутъ судить «по чело-вѣчеству», исходя изъ общаго ощущенія тебя, какъ чело-вѣка, а не изъ соответствія или несо-ответствія твоего поступка зако-ну, приличію, категорическому императиву, тому или иному фор-мально установленному правилу.

Недостаточно, однако, настаи-вать на всѣхъ этихъ чертахъ; на-до указать и связанную съ ни-ми трагическую антиномію, впер-вые подчеркнутую Викторомъ Ге-номъ, увидѣвшимъ оба ея полка и описавшимъ ихъ съ неизмѣ-нимъ своимъ отвращеніемъ и гнѣ-вомъ. Онъ не устаетъ укорять Россію за невидѣнность лич-наго изъ общаго, за отсутствіе твердо очерченныхъ границъ, въ которыхъ могла бы утвердиться личность; существованіе артелей, на-примѣръ, представляется ему «признакомъ еще не пробудив-шейся индивидуальности»; по его словамъ, «нравственный міръ рус-скаго чело-вѣка начинается и кон-чается семьей»; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ считаетъ, что тотъ же русский чело-вѣкъ цѣнитъ боль-ше всего порядокъ, «въ механи-ческомъ смыслѣ слова». «Нигдѣ, — говоритъ онъ, — не господ-ствуетъ такъ, какъ здѣсь, отвле-ченно-механическое отношеніе къ дѣлу, какъ если бы культура по-коилась на извѣстномъ количествѣ формъ и формулъ, вводимыхъ посредствомъ декретовъ». Слова эти звучатъ пророчески; однако напоминаютъ о нихъ не толь-ко нынѣшніе способы управления Россіей, но и военные поселенія

Аракчеева, на-примѣръ, о кото-рыхъ не такъ давно одинъ со-вѣтскій авторъ отзывался не безъ одобренія. Можно сказать, что тамъ, гдѣ кончаются «личныя от-ношенія», начинается сразу ими же вызванная антитеза: царство сугубо - механическаго государ-ственного устройства, «военщи-ны», «казенщины», того, за что проклинали Петра и ненавидѣли Николая I, за что, въ частности, такъ «ненавидѣлъ его Толстой. Противоположность нужно ви-дѣть здѣсь не между самодер-жавіемъ и свободой, а между бездушнѣмъ государственной ма-шины и безгосударственной, без-форменной душевностью, къ ко-торой тяготѣтъ русский чело-вѣкъ. Нельзя не вспомнить и тутъ Тол-стого, описанія того, какъ Каре-нинъ, пріѣхавшій въ Москву съ ясными намѣреніями и твердыми рѣшеніями, весь размягчается, рас-творяется, теряетъ какъ бы ду-ховный свой скелетъ, поглощен-ный стихійнымъ добродушіемъ Стивы Облонскаго.

Антиномія здѣсь касается не только «быта и нравовъ», но че-го-то гораздо болѣе глубокаго: устройства еямой души. Въ мысли и дѣятельности того же Толстого первичное чувство жизни борет-ся съ разудочнымъ схематиз-момъ, проявляющемся уже въ раз-сужденіяхъ «Войны и мира», а за-тѣмъ и въ поздней толстовской философіи. Отвлеченное мышленіе у него тѣмъ болѣе стремится къ какой-то арифметической нагляд-ности, чѣмъ оно, по существу, протекаетъ затрудненнѣе и тяже-лѣе. Борьба, которая происходитъ въ душѣ Толстого, родственна той, что раздѣляетъ Россію на Облонскихъ и Карениныхъ, на



дремотное добродушие семейственного совѣснаго нутра и насылюющія его жестокія схемы желѣзнаго государства и свинцовой логики. Россія, однако, все же больше въ творчествѣ, чѣмъ въ отвлеченномъ мышленіи Толстого; больше въ Облонскомъ, чѣмъ въ Каренинѣ, по крайней мѣрѣ та Россія, которую мы знали и о которой только и можемъ судить. Самое глубокое слово о ней сказано, быть можетъ, митрополитомъ Филаретомъ (запись его найдена въ бумагахъ Гоголя). О русскомъ народѣ митрополитъ ска-

залъ: «въ немъ свѣта мало, но теплоты много». Недаромъ, «свѣтитъ, да не грѣетъ» чисто русская поговорка, которой никакое «грѣетъ, да не свѣтитъ» не противопоставить. И развѣ могъ бы не русскій человѣкъ сказать о себѣ, какъ Розановъ въ «Уединенномъ»: «Я похожъ на младенца въ утробѣ матери, но которому вовсе не хочется родиться. Мнѣ и тутъ тепло», — слова, которыя едва ли не вся Россія готова за нимъ ежедневно повторять.

В. Вейдле.

## Стоять — негасимую свѣчу

памяти Евгенія Ивановича Замяткина

1884-1937.

— — — море-могила, мшистая кочка, крестная дорога разошлась по Россіи — Россія, какой она мнѣ снится, весенняя въ муравѣ моей суздальской родины, то кукушачья — подмосковный звенигородскій лѣсъ въ вечерній часъ, или галочье ненастье — Петербургъ, куда ни обернусь: кресты.

Первый крестъ — наше послѣднее прощаніе: Блюкъ; памятно, какъ кровь: это было и наше «спрашите» — послѣднее — русской землѣ. За Блюкомъ Гумилевъ... Розановъ, Брюсовъ, Гершензонъ, Сологубъ, Есенинъ, Добронравовъ, Андрей Бѣлый, а въ прошломъ году Кузминъ, Горькій, а вотъ и Замяткина похоронили.

И остался одинъ Пришвинъ — бѣлый, какъ луна, съ ружьемъ и собакой, вижу, приставилъ ладони къ ушамъ: трепетаніе листьевъ, или гдѣ-то осина трепещется, или

въ еще «нераздѣвшейся» ночи слышно-чутко мои предразсвѣтныя прощальныя мысли?

«Стоять — негасимую свѣчу», такъ въ старину о канонникахъ, читавшихъ псалтырь, такъ мнѣ сказалося о Замятинѣ, о его словесной работѣ. Только Андрей Бѣлый такъ сознательно строилъ свою прозу, а положилъ «началь» Гоголь, первый Флоберъ въ русской литературѣ, а за Гоголемъ Слѣпцовъ... Аксаковъ, Гончаровъ.

Я лежалъ въ жару. Только гаета, перо и кисточка. Въ память Пушкина я хотѣлъ изобразить его сна, — шесть сновъ; рисованіе помогаетъ моему глазу различать въ темнотѣ сновидній, чего не схватить словомъ; а температура